

Пролог

Появление

В год 1954 от Рождества Христова, тридцатого сентября, ближе к вечеру, мы с братом Шивой¹ появились на свет после восьмимесячного пребывания во мраке материнской утробы. Свой первый вдох мы сделали на высоте одиннадцати тысяч футов над уровнем моря в разреженном воздухе Аддис-Абебы, столицы Эфиопии.

Чудо нашего рождения состоялось в Третьей операционной госпиталя Миссии, в том самом помещении, где наша мать, сестра Мэри Джозеф Прейз, провела за работой немало часов и где она обрела себя.

Когда у нашей матери, монахини мадрасского ордена Пресвятой Девы Марии Горы Кармельской², в то сентябрьское утро неожиданно начались схватки, в Эфиопии завершился сезон большого дождя, и стрекотание капель по рифленным жестяным крышам Миссии стихло, подобно оживленному разговору, прерванному на полуслове. Той ночью в опустившейся тишине зацвел мескель, щедро позолотивший горные склоны Аддис-Абебы. На лугах у Миссии осока восстала из грязи, и сверкающий переливчатый ковер подступил прямо к мощным дорожкам госпиталя, суля не-

¹ Шива (*санскр.* «благодать», «милостивый») — в индуизме олицетворение разрушительного начала вселенной и созидания; одно из божеств верховной триады, наряду с творцом Брахмой и поддержателем Вишну. — *Здесь и далее примеч. перев.*

² Первые женские общины, жившие по правилам кармелитского устава, появились при монастырях Италии и Германии в середине XV в.

что куда более существенное, чем просто крикет, крокет или бадминтон.

Одно- и двухэтажные домики Миссии беспорядочно белели на зеленой возвышенности, словно исторгнутые из земных недр тем же могучим геологическим процессом, что породил горы Энтото. Неглубокие канавки клумб, куда стекала с крыш вода, крепостными рвами окружали приземистые строения. Розы матушки Херст карабкались по стенам, темно-красные цветы обрамляли каждое окно, цеплялись за крыши. Столь плодородна была суглинистая почва, что матушка — мудрая и чуткая распорядительница госпиталя Миссии — не велела нам ходить по земле босиком, дабы не отросли у нас новые пальцы.

От главного здания госпиталя, подобно спицам колеса, расходились пять обсаженных кустами дорожек, они упирались в рощицы эвкалиптов и сосен, за которыми почти терялись соломенные крыши пяти бунгалов. Матушке было очень по душе, что Миссия напоминает то ли дендрарий, то ли уголок Кенсингтонского парка (где она до приезда в Африку частенько прогуливалась молоденькой монахиней), а то и Эдем до грехопадения.

Мучительные роды не сорвали с уст сестры Мэри Джозеф Прейз ни стоны, ни вскрика. Один лишь гигантский автоклав (дар Цюрихской лютеранской церкви), притаившийся за распашной стеклянной дверью в соседнем с Третьей операционной помещении, мычал, всхлипывал и источал слезы, пока его обжигающий пар стерилизовал хирургические инструменты и салфетки, потребные для операции. В конце концов, именно под боком у этого сверкающего чудища, в святилище стерилизационной, прошли семь лет жизни моей матери в Миссии, что предшествовали нашему бесцеремонному появлению на свет. Ее одноместная парта (заимствованная из фондов приказавшей долго жить школы Миссии), над которой потрудились ножи многих отчаянных учеников, стояла здесь лицом к стене. Белый кардиган, который мама, как мне сказали, частенько набрасывала на плечи между операциями, висел на спинке парты.

Над партой мама прикрепила к стене календарь с изображением знаменитой скульптуры Бернини «Экстаз святой Терезы»¹. Тело святой Терезы обмякло, будто в обмороке, губы приоткрыты в экстазе, веки полуопущены. С обеих сторон с молитвенных скамей бесстыже подсматривает хор. Мальчик-ангел, чье излишне мускулистое тело как-то не вяжется с юным лицом, парит над безгрешно-чувственной сестрой, кончиками пальцев левой руки приподнимая самый краешек одеяния, прикрывающего грудь. В правой руке ангел бережно, будто скрипач смычок, держит копье.

К чему эта картина? Почему святая Тереза, матушка?

Четырехлетним мальчиком я тайком прокрадывался в эту комнату без окон и внимательно рассматривал картинку. Чтобы проникнуть за тяжелую дверь, одной лишь храбрости мне бы недостало, силы придавало страстное желание узнать побольше о монахини, которая была моей матерью. Я садился за ее парту, и автоклав, разбуженный стуканием моего сердца, урчал и шипел, будто пробуждающийся дракон, и постепенно на меня нисходило умиротворение и чувство единения с мамой.

Позже я узнал, что никто так и не осмелился убрать ее кардиган со спинки парты. Это была святая реликвия. Но для ребенка четырех лет все свято и все обыденно. Я набрасывал на плечи этот пахнущий кутикурой покров. Я водил пальцем по высохшей чернильной кляксе, ведь руки мамы когда-то касались этого пятна. Я подолгу смотрел на картинку на календаре, в точности, наверное, как мать когда-то смотрела на нее, и образ тот все глубже проникал мне в душу. (Многие годы спустя я узнал, что повторяющиеся видения святой Терезы именуются «трансверберацией», что, как следовало из словаря, означает «проникновение», а в случае святой Терезы — «проникновение Бога в самое сердце»; метафора маминой веры была и метафорой медицины.) Впрочем, для того, чтобы выразить свое почтение к этому

¹ Святая Тереза Авильская (1515—1582) — испанская монахиня-кармелитка, католическая святая, автор мистических сочинений, реформатор кармелитского ордена, создатель орденской ветви «босоногих кармелиток». Католическая церковь причисляет ее к Учителям Церкви.

образу, четырехлетке слова вроде «трансверберация» ни к чему. Фотографий на память не осталось, и фантазия подсказывала мне, что женщина с картинки — это моя мать, перепуганная недвусмысленными намерениями мальчика-ангела с копьём. «Когда ты явишься, мама?» — спрашивал я, и голос мой колотился о холодный кафель. *Когда ты явишься?*

И отвечал я себе шепотом: «С Богом!» Вот что осталось мне на память: слова доктора Гхоша, которые он впервые произнес, когда вошел сюда, разыскивая меня, и глянул поверх моих плеч на картинку со святой Терезой. Легко подхватив меня на руки, доктор прогудел своим низким голосом, столь похожим на рокот автоклава: «Она уже в пути, с Богом!»

Сорок шесть лет и еще четыре года протекло с минуты моего появления на свет, и случилось чудо: я вновь в этом помещении. Оказалось, парта теперь для меня маловата, а кардиган лежит у меня на плечах подобно кружевному омофору священника. Но и парта, и кардиган, и картинка с трансверберацией остались на своих прежних местах. Это я, Мэрион Стоун, изменился, а вовсе не окружающий меня мир. Эта застывшая комната подхватила меня и понесла сквозь память и время. Ничуть не поблекшая святая Тереза (для вящей сохранности ныне оправленная в рамку и помещенная под стекло), чудилось, призывала меня: приведи события в порядок, мол, вот это начиналось здесь и произошло по такой-то причине, и вот так сходятся концы с концами, и вот что привело тебя сюда.

Мы приходим в этот мир незваными и, если повезет, обретаем особую цель, которая возносит нас над голодом, нищетой и ранней смертью, составляющими, о чем не след забывать, общую участь. Став постарше, я определил для себя такую цель: стать врачом. Главным образом не для того, чтобы спасти мир, а чтобы излечиться самому. Немногие доктора, особенно из числа молодых, способны признаться в этом, но ведь вступая в профессию, мы все, пожалуй, подсознательно верим, что служение другим уврачуе

наши собственные раны. Так-то оно так. Если только не разбередит окончательно.

Специальностью своей я избрал хирургию благодаря матушке-распорядительнице, чьим неизменным присутствием было окрашено мое детство и отрочество.

— Что для тебя было бы самым трудным? — спросила она меня, когда в самый черный день первой половины своей жизни я обратился к ней за советом.

Я пожегся. Как легко матушка нащупала разрыв между амбициями и целесообразностью.

— А почему я должен обязательно бороться с трудностями?

— Потому что, Мэрион, ты — инструмент Господа. Не оставляй инструмент в футляре! Играй! Да откроются тебе все тонкости игры! Не бренчи «Три слепые мышки», если способен исполнить «Глорию».

Как несправедливо со стороны матушки было упоминать об этом грандиозном хорале, заставлявшем меня, как и прочих смертных, сознавать свое ничтожество и в немом изумлении взирать на небо! Ведь она понимала мой несформировавшийся характер.

— Но, матушка, я и мечтать не могу о том, чтобы исполнить «Глорию» Баха, — пролепетал я чуть слышно. Я не умел играть ни на струнных, ни на духовых. Я не знал нот.

— Нет, Мэрион, — она погладила меня по щеке своими шершавыми пальцами, — речь идет не о «Глории» Баха, а о твоей собственной «Глории», которая всегда с тобой. Это самый большой грех — не раскрыть то, чем одарил тебя Господь.

По темпераменту я был больше склонен к какой-нибудь познавательной дисциплине, терапии или психиатрии. Стоило мне только взглянуть на операционную, как меня бросало в пот. При мысли о скальпеле внутри все сжималось (и до сих пор сжимается). Ничего сложнее хирургии я и представить себе не мог.

Вот так я стал хирургом.

За прошедшие тридцать лет я не снискал славы ни своей быстротой, ни отвагой, ни техникой. Назовите меня спокой-

ным, уравновешенным, тщательно подбирающим стиль и приемы, которые в наибольшей степени соответствуют конкретному пациенту и положению, и я почти это за наивысшую похвалу. Я набираюсь мужества от своих коллег-врачей, которые обращаются ко мне, когда им самим надо лечь под нож. Они знают, что Мэрион Стоун отнесется к пациенту с равным вниманием и до операции, и во время, и после. Они знают, что молодецкие фразы вроде «В рассуждения не влезай, увидел — вырезай» или «Чем ждешь-поджидать, лучше сразу откромсать» не про меня писаны. Мой отец, к чьему дару хирурга я отношусь с глубочайшим уважением, говорит: «Наилучший прогноз дает операция, которую ты решил не делать». Умение отказаться от операции, четко осознать, что задача тебе не по силам, попросить помощи у хирурга калибра моего отца — такого рода талант не приносит шумной славы.

Однажды я попросил отца прооперировать пациента, который одной ногой уже был в могиле. Отец молча стоял у койки больного, держа руку на пульсе, хотя давно уже сосчитал удары сердца; казалось, чтобы ответить, ему было необходимо коснуться кожных покровов, ощутить ток крови в лучевой артерии. На его лице, словно созданном резцом скульптора, я видел полную сосредоточенность. Мне представились шестеренки, что вертятся у него в голове, померещились слезы, блеснувшие у него в глазах. Он тщательно взвешивал варианты. Наконец покачал головой и направился к выходу.

Я кинулся за ним. Окликнул:

— Доктор Стоун!

Хотя хотелось завопить: «Отец!» В глубине души я знал, что шансы больного бесконечно малы и что с первым же дуновением наркоза все может быть кончено. Отец положил руку мне на плечо и заговорил мягко, словно с коллегой-новичком, а не с сыном:

— Мэрион, помни одиннадцатую заповедь. Не берись за операцию в день смерти пациента.

Я вспоминаю его слова в лунные ночи в Аддис-Абебе, когда сверкают ножи, свистят пули, камни рассекают воздух, и мне кажется, что я на бойне, а не в Третьей операционной,

и кровь и солод чужаков пятнают мою кожу. Я все помню. Однако перед операцией не всегда знаешь ответы. Оперировать-то здесь и сейчас, и только потом некий прожектор, устремленный в прошлое, любимый прибор шутов и мудрецов, что организуют совещания по вопросам заболеваемости и смертности, высветит правоту или неправоту твоего решения. Жизнь, она ведь тоже такая — мчится вперед, а понимание движется в обратном направлении. Только если остановишься и обернешься, увидишь мертвое тело под колесами.

Теперь, на пятидесятом году жизни, я испытываю благоговение перед вскрытой брюшной полостью или грудной клеткой. Мне стыдно за род человеческий, за его талант увечить, уродовать, осквернять тело. Хотя именно этот талант позволяет мне любоваться каббалистической гармонией сердца, что проглядывает из-за легкого, или печени и селезенки — заединщиков под куполом диафрагмы, — и восторг лишает меня дара речи. Мои пальцы пробегают по кишке в поисках отверстия, оставленного ножом или пулей, петля за петлей, двадцать три фута, плотно уложенных в столь малом объеме, и во мраке африканской ночи кажется, что вот он, мыс Доброй Надежды, и я еще увижу голову змеи. Дива дивные, укрытые от своего владельца под кожей, мускулами и ребрами, предстают перед моим взором. Это ли не величайшая привилегия в земной юдоли?

В такие минуты я вспоминаю, что мне следует принести благодарность моему брату-близнецу, доктору Шиве Преиз-Стоуну, отыскать его отражение на стеклянной панели, разделяющей две операционные, и поклониться за то, что он позволил мне стать тем, кто я есть. Хиругом.

По мнению Шивы, жизнь в конечном счете заключается в латании дырок. Шива никогда не говорил метафорами. Латание дыр — его занятие в буквальном смысле слова. Такова наша профессия. Но есть и дырка иного рода — кровавый разрыв, что разделяет семью. Порой при рождении, порой позже. Все мы пытаемся сшить разорванное. Это цель жизни. Невыполненная, она переходит к следующему поколению.

Рожденный в Африке, живший в ссылке в Америке, в конце концов опять вернувшийся в Африку, я убежден, что

география — это судьба. Именно судьба привела меня в точности туда, где я родился, в ту самую операционную. Мои руки в хирургических перчатках занимают точно тот же кусочек пространства у стола в Третьей операционной, что и руки моих отца с матерью.

Порой по ночам сверчки до того надрываются, что в их «заа-зи, заа-зи» тонет кашель и рычание гиен, шныряющих по окрестным холмам. Как вдруг все стихает, будто переключка закончилась, и тебе самое время найти во мраке своего напарника и удалиться. В надвигающемся вакууме тишины я слышу, как тонкими колокольчиками звенят звезды, и на меня нисходит ликование и благодарность за то крошечное место в Галактике, что занимаю я. Именно в такие минуты я чувствую, сколь многим обязан Шиве.

Братья-близнецы, мы до отрочества спали в одной постели, соприкасаясь головами, тела и ноги в разные стороны. Мы переросли нашу близость, но я до сих пор скучаю по ней, по голове брата рядом. Когда я просыпаюсь на рассвете, первое, что приходит на ум, это разбудить его и сказать: «Красотой этого утра я обязан тебе».

А еще я обязан рассказать эту историю. Ту самую, о которой молчала моя мать, сестра Мэри Джозеф Прейз, — историю, которой всячески избегал мой бесстрашный отец Томас Стоун и которую мне придется восстановить по кусочкам. Только так можно преодолеть разрыв между братом и мной. Я бесконечно верю в хирургию, но ни один специалист не в силах вылечить кровоточащую рану, разделяющую двух братьев. Где шелк и сталь бессильны, слова должны помочь.

Начнем с начала...

Часть первая

...Ибо вся тайна ухода за пациентом в заботе о нем.

Френсис В. Пибоди. 21 октября 1925 года

Глава первая

Тифозное состояние

Сестра Мэри Джозеф Прейз прибыла в госпиталь Миссии из Индии, за семь лет до нашего рождения. Она и сестра Анджали были первыми послушницами мадрасского ордена кармелиток, кто после выматывающих курсов получил значки медсестер в Правительственной больнице общего профиля. В *тот же* вечер девушки постриглись в монахини, приняв на себя обет бедности, целомудрия и смирения. И в госпитале, и в монастыре к ним теперь обращались «сестра». Их аббатиса, пожилая и безгрешная Шесси Дживаругезе по прозвищу «Праведная Амма», благословила двух юных медсестер-монахинь и назначила им неожиданное послушание: Африку.

В день отплытия все послушницы монастыря выбрались на рикшах в гавань — проводить двух своих сестер во Христе. Так и вижу на причале стайку взбудораженных девушек, они восторженно щебечут, их белое облачение треплет ветер, и чайки прыгают подле обутых в сандалии ног.

Я часто пытался себе представить, с какими мыслями покидала мама берег Индии (а ведь им с сестрой Анджали было всего-то по девятнадцать) и поднималась по трапу на палубу «Калангута», сопровождаемая сдавленными всхлипываниями и пожеланиями милости Господней. Страшно ли ей было? Крепок ли был ее дух? В ее жизни уже было нечто подобное, когда в один прекрасный день она рассталась со своей семьей и ушла за тридевять земель в монастырь, из ее родного Кочина¹

¹ Кочин, или Коччи, — город в индийском штате Керала, крупный порт на Малабарском побережье Аравийского моря.

до Мадраса надо было сутки ехать поездом, и родители понимали, что больше никогда с ней не увидятся. И вот теперь, проведя три года в Мадрасе, она расставалась со своей семьей по вере, отправлялась за океан. И снова пути назад не было.

За несколько лет до того, как начать писать, я выбрался в Мадрас, чтобы пройти по следам мамы. В архивных документах кармелиток я не нашел о ней ничего, но мне попались дневники Праведной Аммы, где аббатиса отмечала события день за днем. Когда «Калангут» отчалил, Праведная Амма, словно дорожный полицейский, подняла руку и «звучным голосом, которым читаю проповеди и который, как говорят, никак не выдает мой возраст» отчеканила: «Оставьте земли свои ради меня»¹. Для Праведной Аммы эта миссия была полна особого смысла. Да, потребности Индии неизмеримы. И да, так будет всегда, но оправданием это быть не должно, и потому две юные монахини — самые добродетельные и самые непреклонные в вере — станут застрельщицами; индийцы, разгоняющие любовью Христовой мрак Африки, — таковы были великие амбиции настоятельницы. Из бумаг я понял ход ее мыслей: в Индии английским миссионерам открылось, что нести любовь Христову лучше всего через припарки и компрессы, мази и перевязочный материал, чистоту и комфорт. Так разве есть более важная миссия, чем миссия врачевания? Две ее юные монахини пересекут океан, и мадрасская Миссия начнет служить и в Африке.

Две машущие фигурки на палубе постепенно превращались в белые точки, а аббатису терзали мрачные предчувствия. Что, если слепое подчинение ее великим планам обречет невинных девушек на ужасную судьбу? «За английскими миссионерами стояла могущественная империя, а что послужит опорой моим девочкам?» В дневнике своем она

¹ Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Марк, 10:29-30.

записала, что скрипучая перебранка чаек и брызги птичьего помета изрядно подпортили торжественные проводы. Да тут еще вонь тухлой рыбы, запах гниющего дерева и по пояс обнаженные грузчики, которые, увидев девушек, похотливо облизывали ярко-красные от бетеля губы.

Отец Небесный, вверяем тебе наших сестер, да пребудут в безопасности, — воззвала Праведная Амма к Господу, перестав махать и спрятав руки в рукава. — *Босоногие кармелитки¹ молят о прощении и милости.*

Был 1947 год, британцы окончательно уходили из Индии; исход, представлявшийся невозможным, свершился. Праведная Амма тихонько вздохнула. Мир менялся, требовались решительные действия, и она верила в них.

Черно-красная жалкая посуда, именующая себя кораблем, пересекала Индийский океан, направляясь в Аден. Трюмы «Калангута» были заполнены разнообразным грузом — нашлось место и для бумажной пряжи, и для риса, и для шелка, и для сейфов «Годредж»², и для канцелярских шкафов «Тата», и даже для тридцати одного мотоцикла «Ройял Энфилд Баллет» с моторами в промасленной ветоши. Судно не предназначалось для перевозки пассажиров, но грек-капитан выкрутился, взяв на борт «квартирантов». Многие тогда плавали на грузовых судах, отсутствие должной obsługi компенсировалось экономией. На судне находились две мадрасские монахини, три еврея из Кочина, семья из Гуджарата, трое подозрительного вида малайцев и несколько европейцев, среди которых были два

¹ Орден босых братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель (Палестина) — один из четырех нищенствующих католических орденов, отделившийся от основной ветви кармелитов в XVI в. Его возникновение связано с деятельностью великих кармелитских святых — Терезы Авильской и Иоанна Крестителя, а также с желанием части кармелитской братии жить по строгому первоначальному уставу ордена. Орден босых кармелитов был утвержден в 1593 г.

² Компания «Годредж» одна из старейших и крупнейших в Индии. Образованная в 1897 г., она поначалу специализировалась на производстве замков и сейфов, но во второй половине XX века постепенно стала расширять сферу своих интересов, и сегодня «Годредж» производит весь спектр бытовой техники.

французских матроса, в Адене собирающихся догнать свой корабль.

Палуба «Калангута» отличалась небывалым простором — кусок суши, да и только. У кормы неким насекомым на спине у слона притулилась трехэтажная надстройка, где обитали команда и пассажиры. Венчал надстройку мостик.

Моя мама, сестра Мэри Джозеф Преиз, была малаяли¹ из Кочина, штат Керала. Христиане-малаяли ведут свою родословную от самого святого Фомы, который прибыл в Индию в 52 году от Рождества Христова. «Неверующий» Фома основал свои первые церкви в Керале задолго до того, как святой Петр попал в Рим. Мама была девочка богобоязненная, регулярно посещала церковь, а в средней школе попала под влияние харизматичной монахини-кармелитки, работавшей с бедняками. Мамин родной город лежит на берегах Аравийского моря на пяти островах, подобных драгоценным камням на перстне. Торговцы пряностями столетиями приплывали в Кочин за кардамоном и гвоздикой, среди них был и некий Васко да Гама. Португальцы основали на Гоа колониальное поселение и принялись силой загонять местных индусов в католицизм. В конце концов в Кералу явились католические священники и монахини, словно и не ведая о том, что святой Фома привез в Кералу незамутненное учение Христа за тысячу лет до них. К великому огорчению родителей, мама стала монахиней-кармелиткой, вышла из сирийско-христианской традиции святого Фомы и присоединилась к этим (по их мнению) выскочкам, к этой папистской секте. Если бы она перешла в мусульманство или индуизм, они вряд ли огорчились бы больше. Хорошо еще, родители не знали, что она, ко всему прочему, медсестра и будет мараить свои руки будто неприкасаемая.

Мама выросла на берегу океана возле древних китайских рыболовных сетей, свисающих с бамбуковых шестов и стелющихся над водой, словно гигантская паутина. Для ее народа море было вошедшим в поговорку кормильцем, верным поставщиком креветок и рыбы. Но сейчас, на палубе «Калангута», вдали от знакомых берегов, она не узнавала

¹ Малаяли — народ в Индии, основное население штата Керала.

своего кормильца. Неужели открытое море всегда такое — туманное, неласковое и беспокойное? В его объятиях судно раскачивалось, и моталось из стороны в сторону, и натужно скрипело. Казалось, воды вот-вот поглотят его.

Мама и сестра Анджали уединились в своей каюте, заперли дверь, чтобы никто не ворвался, ни мужчины, ни море. Пылкие молитвы Анджали пугали маму. Сестра Анджали возвела в ритуал чтение Евангелия от Луки; она утверждала, что это окрыляет душу и дисциплинирует тело. Две монахини вникали в каждую букву, каждое слово строчку и фразу до *dilatatio*, *elevatio* и *excessus* — созерцания, величия и экстаза. Древний распорядок Ришара де Сен-Виктора¹ доказал свою полезность при плавании за море, которому не видно ни конца ни края. К исходу второй ночи, после десяти часов углубленного чтения, сестра Мэри Джозеф Преиз внезапно ощутила, что печатные буквы, да и сама страница, исчезли и ее и Господа более ничто не разделяет. Тело, ликуя, уступило тому, что свято, вечно и необъятно.

На шестой день плавания во время вечерних молитв они пропели гимн, два псалма, свои антифоны, возблагодарили Господа и как раз пели «Магнификат»², когда пронзительный треск вернул их на грешную землю. Монахини нацепили спасательные жилеты и кинулись вон из каюты. Палуба вздыбилась, гранью пирамиды она вздымалась в небо. Капитан курил трубку и своей ухмылкой дал понять пассажирам, что пугаться нечего.

На девятый день плавания у четырех из шестнадцати пассажиров и у одного матроса появился жар, а еще через день на теле выступили розовые пятна, составив на груди и животе рисунок сродни китайской головоломке. Страдания сестры Анджали оказались невыносимы, малейшее прикос-

¹ Ришар Сен-Викторский (?—1173) — французский философ, теолог, представитель мистицизма, шотландец по происхождению, пытался примирить веру и разум с приоритетом веры. Ставил мистическое созерцание выше логического мышления.

² «Магнификат» (по первому слову первого стиха «Magnificat anima mea Dominum») — славословие Девы Марии из Евангелия от Луки (Лк, 1:46-55) в латинском переводе.

новение вызывало у нее мучительную боль. На второй день болезни она впала в горячечный бред.

Среди пассажиров «Калангута» оказался хирург, молодой англичанин с ястребиными глазами, покинувший Индийскую медицинскую службу в поисках лучшей доли. Хотя он и избегал общих трапез, все заметили, как он высок и силен и как резки черты его сурового лица. Сестра Мэри Джозеф Прейз свалилась на него (в буквальном смысле слова) на второй день плавания, оступившись на металлическом трапе, что вел к кают-компани. Англичанин подхватил ее за копчик и за грудную клетку и поставил на ноги, будто ребенка. Когда она, запинаясь, пробормотала слова благодарности, он залился румянцем. Казалось, их внезапная близость смутила его куда больше, чем ее. Места, где его руки коснулись ее тела, побаливали, но в этой боли была некая сладость. А потом англичанин пропал из поля зрения на добрых несколько дней.

Сестра Мэри Джозеф Прейз набралась смелости и постучалась в дверь его каюты: все-таки врач. Слабый голос пригласил ее войти. С порога она почувствовала кислый запах желчи.

— Это я, — громко представилась она, — сестра Мэри Джозеф Прейз.

Доктор лежал на боку, лицо серо-зеленое, того же цвета, что и его шорты, глаза зажмурены.

— Доктор, — сказала она, помедлив, — у вас тоже жар?

Он приподнял было веки, и глаза у него закатились. Его вырвало. Метил он в пожарное ведро, но не попал. Впрочем, ведро и так было полно до краев. Сестра Мэри Джозеф Прейз бросилась к мужчине и пощупала ему лоб. Кожа была холодная и липкая, никакого жара. Щеки у него ввалились, тело скрючилось, словно его пытались запихать в тесный ящик. Никто из пассажиров не страдал морской болезнью. Единственный случай на корабле, и в такой тяжелой форме!

— Доктор, докладываю, что у пяти пациентов жар. Сопутствующие симптомы: сыпь, озноб, испарина, редкий пульс и потеря аппетита. Состояние у всех стабильное, за исключением сестры Анджали. Я очень беспокоюсь за Анджали...

Как только она высказалась, ей сразу же стало легче, хотя англичанин только и мог, что застонать в ответ. В глаза ей бросилась лигатура из кетгута, обмотанная во-круг изголовья койки, она являла собой великолепный набор узлов, один на другом, обративший изголовье в некое подобие флагштока. Вот как доктор коротал время, когда его одолевала рвота.

Она опорожнила и вымыла ведро, поставила подле страдальца, протерла пол полотенцем, сполоснула его и повесила сушиться, поставила воду в изголовье и удалилась. Интересно, сколько уже дней он ничего не ел?

К вечеру ему сделалось хуже. Сестра Мэри Джозеф Прейз принесла чистые простыни, полотенца, бульон, попыталась покормить его, но от одного только запаха пищи его выворачивало всухую, глаза вылезали из орбит. Его обложенный язык был сер, как у попугая. В каюте стоял особый сладковатый запах, такой бывает, когда умирают от истощения, она знала. Если оттянуть кожу у него руке и отпустить, она так и оставалась стоять домиком. Ведро уже было до половины полно чистой желчи. Может ли морская болезнь закончиться смертельным исходом, недоумевала она. А вдруг это легкая форма болезни, что постигла и сестру Анджали? В медицине она не такой уж большой специалист. Посреди океана, окруженная больными, сестра Мэри Джозеф Прейз остро чувствовала бремя собственного невежества.

Но она знала, как ухаживать за больными. И знала, как молиться. С молитвой она скинула с него рубашку, пропитанную слюной и желчью, стянула шорты, обтерла тело и преисполнилась гордости, ибо ей никогда еще не доводилось производить подобные манипуляции с белым человеком, да еще доктором. Тело его покрывалось гусиной кожей, но сыпи не было. Он был хорошо сложен, с прекрасно развитой мускулатурой, и только сейчас она заметила, что левая половина грудной клетки у него меньше правой, слева в ямочку над ключицей влезло бы с полчашки воды, а справа — не больше чайной ложки. А от левого соска к подмышке тянулась впадинка, кожа на ней блестела и морщилась. Она коснулась провала, и у нее перехватило дыхание: двух или даже трех соседних ребер не было в помине, сердце

сильно билось прямо у нее под пальцами, тут же за тоненькой перемычкой, очертания желудочков легко угадывались под кожей.

Мягкий, негустой волосяной покров на животе и груди, казалось, произрастал из поросли на лобке. Она бесстрастно обмыла необрезанный член, уложила набок и занялась жалким сморщенным мешочком под ним. Когда дело дошло до мытья ног, она не сдержала слез, на ум ей, само собой, пришли Иисус и его последняя земная ночь с учениками.

В каюте доктора она обнаружила книги по хирургии. Поля страниц были исписаны именами и датами, и только позже она догадалась, что это имена пациентов, индусов и англичан, и больной Пибоди или Кришнан — типичный случай описываемой на странице болезни. Крест рядом с фамилией, видимо, означал смерть. Она отыскала одиннадцать блокнотов, густо заполненных убористым прыгающим почерком, строчки были кривые и на полях загибались книзу. Молчаливый с виду человек, на бумаге он неожиданно оказался весьма многословен.

В конце концов она нашла чистое нижнее белье и шорты. Что тут скажешь, если у мужчины больше книг, чем одежды? Ворочая его с боку на бок, она облачила его в свежее белье.

Теперь она знала, что его зовут Томас Стоун: имя значилось на учебнике по хирургии, лежащем на тумбочке. Про жар и сыпь в книге говорилось мало, а про морскую болезнь — и вовсе ни слова.

В тот вечер сестра Мэри Джозеф Прейз металась от одного больного к другому. На излом палубы она старалась не смотреть, он напоминал ей скорчившуюся человеческую фигуру. Накатила черная гора воды высотой с многоэтажный дом, и судно, казалось, провалилось в воронку водоворота. Потоки с ревом устремились на палубу.

Посреди разбушевавшегося океана, отупевшая от бессонницы и бессилия, она чувствовала, что ее мир стал проще. Он разделился на тех, у кого был жар, тех, кто страдал от морской болезни, и тех, кого миновала чаша сия. К тому же,

кто знает, был ли смысл во всех этих разграничениях, вдруг им всем суждено утонуть.

Она очнулась от забытья рядом с Анджали. Казалось, не прошло и мгновения, но следующее пробуждение застало ее уже в каюте англичанина, она уснула, стоя на коленях рядом с его койкой, ее голова покоилась у него на груди, а его рука лежала у нее на плече. Не успела сестра Мэри это осознать, как сон опять ее сморил, на этот раз проснулась она в койке, лежа на самом краешке, тесно прижавшись к Томасу Стоуну. Юная монахиня вскочила и помчалась к сестре Анджали, той стало хуже, дыхание сделалось прерывистое и частое, кожу сплошь покрыли большие лиловые пятна.

Лица у измученных бессонницей матросов были напряженные, а один юноша упал перед ней на колени и взмолился: «Сестра, отпусти мне мои грехи», и она поняла, что судно по-прежнему в опасности. На ее просьбы о помощи команда не реагировала.

В тоске и отчаянии сестра Мэри Джозеф Преиз утащила из кубрика гамак (в полусне-полуяви ей явилось некое видение насчет него) и повесила в его каюте между иллюминатором и койкой.

Доктор Стоун был слишком тяжел, и только помощь святой Екатерины, которой неустанно молилась юная монахиня, позволила стянуть неподвижное тело с койки на пол и затем затащить на гамак. Послушный законам гравитации, гамак не качался вместе с кораблем, сохраняя горизонтальное положение. Она опустилась рядом с ним на колени и предалась молитве, открыла свою душу Иисусу и закончила «Магнификат», прерванный на полуслове в ту ночь, когда палубу вспучило.

Сперва у доктора Стоуна порозовела шея, потом щеки. Она дала ему пару ложечек воды, а через час настала очередь бульона. Теперь его блестящие глаза следили за каждым ее движением. Стоило ей поднести ложку ему ко рту, как сильные пальцы ухватили ее за запястье. «Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем»¹, — снова пришло ей на ум.

¹ Лука, 1:53.